

Полемика, политика и проблематизация

1984. Интервью [1].

— Почему Вы дистанцируетесь от полемики?

— Я люблю дискутировать и стараюсь отвечать на заданные мне вопросы. А вот участвовать в полемике не люблю, это верно. Если я открываю книгу, в которой автор обзывает противника «инфантильным леваком», то я сразу же ее закрываю. Это не мой способ вести себя; я не принадлежу к миру людей с такими манерами. Я считаю это очень важным: ведь речь здесь идет о морали в полном смысле слова, и мораль эта касается поисков истины и отношений к другому.

В серьезном взаимодействии вопросов и ответов, в работе по взаимному углублению в тему права каждого участника как бы имманентны дискуссии. Они проистекают из самой ситуации диалога. Задающий вопросы использует предоставленное ему право: не позволять себя убедить, замечать противоречия, требовать дополнительную информацию, подчеркивать различные постулаты, выявлять ошибки в рассуждениях. Что же касается отвечающего, то он тоже не располагает никакими правами, выходящими за рамки самой дискуссии; логикой собственной речи он связан с тем, что сказал ранее, а согласием вести диалог — с вопросами спрашивающего. Вопросы и ответы образуют игру — сразу и приятную, и трудную — когда оба партнера по мере сил стараются пользоваться лишь правами, предоставленными им собеседником, и соблюдать принятую ими форму диалога.

Что же касается полемиста, то он устремляется вперед, обвесив себя привилегиями, словно латами, и никогда не позволяет себе в этих привилегиях усомниться. Он как бы изначально обладает правами, разрешающими ему вести войну и превращающими его борьбу в справедливое дело; перед собой полемист видит не партнера по поискам истины, но противника, врага, который неправ, приносит вред, врага, сама жизнь которого представляет собой угрозу. Следовательно, игра для полемиста состоит не в признании врага как субъекта, имеющего право на речь, но в вытеснении его как собеседника из всех возможных диалогов; а конечная цель полемиста — не приблизиться к истине, а обеспечить триумф справедливого дела, несомненным борцом за которое он является с самого начала. Полемист опирается на легитимность, коей его противник по определению лишен.

Может быть, когда-нибудь нужно будет написать длинную историю полемики как паразитарной фигуры дискуссии, препятствующей поискам истины. В целом мне кажется, что тут можно признать наличие трех моделей — религиозной, судебной и политической. Как в ересиологии, полемика ставит перед собой задачу определить точку неприкасаемой

догмы, основополагающий и необходимый принцип, которым противник пренебрегал, который он игнорировал или нарушал; в этом пренебрежении полемика усматривает моральную вину; у корней заблуждения она обнаруживает страсть, желание, интерес, словом, целый ряд не сознающих себя слабостей и привязанностей, превращающих это заблуждение в виновность. Как и в судебной практике, полемика не открывает возможность и для равноправной дискуссии; она ведет следствие; она не имеет дела с собеседником, она занимается подозреваемым; она собирает доказательства его виновности и, характеризуя совершенное им правонарушение, высказывает осуждение и выносит приговор. В любом случае это не имеет отношения к совместным поискам истины; полемист вещает истину в форме осуждения и согласно властным полномочиям, которыми наделяет себя сам. Но наибольшим могуществом обладает сегодня модель политическая. Полемика определяет альянсы, набирает сторонников, складывает коалиции по интересам или по мнениям, образует партии; она объявляет другого врагом, носителем противоположных интересов, с которым необходимо бороться до тех пор, пока он не окажется побежденным и не будет вынужден подчиниться или исчезнуть.

Разумеется, реанимация в полемике таких политических, судебных или религиозных практик — не что иное, как театр. Актеры жестикулируют: анафемы, отлучения, битвы, победы и поражения в конечном итоге являются риторическими приемами. Но тем не менее в порядке дискурса это еще и образы действия, которые не проходят без последствий. В результате мы имеем стерилизацию: видел ли кто-нибудь, чтобы в ходе полемики возникла новая идея? Да и может ли быть иначе, коль скоро собеседники подвижны не поисками нового, не связанным с риском продвижением вперед в своих речах, но непрерывными ссылками на полномочия, которые они отстаивают, на собственную легитимность, которую они должны защищать, и на утверждение собственной невиновности. Но есть и нечто более серьезное: в этой комедии подражают войне, битвам, подавлению противника и безоговорочным капитуляциям. Однако же очень опасно заявлять, что к истине можно прийти подобными путями, тем самым подтверждая — пусть даже в символической форме — правомерность реальных политических практик, которые в свою очередь могут вдохновиться такими заявлениями. Вообразим на миг, что в полемике один из двух противников по мановению волшебной палочки получает возможность осуществлять над другим всю власть, какую только пожелает: впрочем, можно и не воображать: достаточно вспомнить, как в СССР не так давно развертывались дебаты по языкознанию или генетике. Возможно, это лишь отклонения от того, чем должны быть настоящие дискуссии? Нет, это реальные результаты полемической позиции, последствия которой, как правило, длительное время не проявляются.

— *Согласно Вашим работам, в Вас видели идеалиста, нигилиста, «нового философа», нового консерватора... Кем же Вы являетесь на самом деле?*

— Похоже, что я поочередно, а иногда одновременно оказывался на многих клетках политической шахматной доски: был то анархистом, то леваком, то необузданным или тайным марксистом, то нигилистом, то явным или скрытым антимарксистом, то технократом на службе у голлизма, то неолибералом... Один американский профессор сетовал, что в США пригласили такого тайного марксиста, как я, а в странах Восточного блока меня изобличали в прессе как сообщника диссидентов. Ни одна из этих характеристик сама по себе не важна;

зато в их совокупности есть какой-то смысл. Но я должен признать: этот смысл меня не устраивает.

Я согласен, что не люблю себя идентифицировать и что меня забавляет разнообразие суждений и классификаций, объектом которых я стал. Что-то подсказывает мне, что после таких усилий, столь по-разному ориентированных, в конечном итоге надо бы найти для меня более или менее точное место; а поскольку я, очевидно, не Мою усомниться в компетентности тех, кто выражает столь расходящиеся между собой суждения, — ведь их нельзя заподозрить ни в невнимательности, ни в предвзятости, то неизбежен вывод, что их неспособность найти для меня определение находит основание в особенностях моей личности.

Это, несомненно, глубинным образом касается моего подхода к вопросам политики. Дело в том, что моя позиция не имеет отношения к той форме критики, которая под предлогом методического анализа дает отвод всем возможным решениям, за исключением одного, наилучшего. Моя позиция, скорее, относится к порядку «проблематизации», т. е. разработки области фактов, практик и мыслей, каковые, на мой взгляд, ставят политические проблемы. Например, я не считаю, что существует «политика», сохраняющая монополию на справедливое и окончательное решение проблемы безумия или душевной болезни. Но я полагаю, что в безумии, в помешательстве, в расстройствах поведения имеются основания задавать вопросы политике — и на эти вопросы политика должна отвечать, но она никогда не даст исчерпывающего ответа. Так же обстоят дела с преступлением и наказанием: конечно же, было бы неправильным воображать, что политика не имеет никакого отношения к предотвращению преступления и к наказанию за него, а следовательно, она не связана с известным количеством элементов, модифицирующих форму, смысл и частоту преступлений; но столь же неправомерно утверждать, что существует некая политическая формула, которая в состоянии полностью решить проблему преступлений и положить им конец. То же касается и сексуальности: она не существует без отношений к политическим структурам, требованиям, законам и регламентациям, обладающим для нее первостепенной важностью; и все-таки от политики нельзя будет дожидаться создания таких форм, в которых сексуальность перестанет быть проблемой.

Итак, речь идет об осмыслении отношений этих разнообразных форм опыта к политике; это не означает, что в политике надо искать конституирующий принцип такого опыта или решение, которое окончательно упорядочит его в будущем. Вышеприведенные формы опыта необходимо должны ставиться перед политикой. Но также необходимо как следует определить, что означает «ставить проблему» перед политикой. Р. Рорти замечает, что в этих исследованиях я не ссылаюсь на понятие «мы», чьи консенсус, ценности и традиции образуют рамки некоей мысли и определяют условия, в которых эту мысль можно оценивать. Но проблема как раз в том, чтобы понять, действительно ли необходимо ограничивать себя рамками того, что определяется как «мы», чтобы оценивать признаваемые принципы и принятые ценности, — или же, разрабатывая вопрос, нет необходимости в последующем формировании понятия «мы». Дело в том, что я не считаю, что «мы» должно предварять вопросы; оно может быть всего-навсего результатом — и результатом с необходимостью временным — вопроса, каким он формулируется в новых терминах. Я, например, не уверен, что в период, когда я писал «Историю безумия», имелось

какое-то предсуществующее и собирательное понятие «мы», на которое достаточно было бы сослаться, чтобы написать эту книгу, ставшую, в свою очередь, спонтанным его выражением. Между Лэйнгом, Купером, Базальей и мною не существовало некоей общности или объединяющей нас связи. Но для тех, кто нас читал, а также для некоторых из нас, встала проблема: возможно ли, исходя из проделанной работы, образовать определенное «мы», по природе своей способное сформировать сообщество действия.

Я никогда не пытался анализировать что бы то ни было с точки зрения политики; но я всегда стремился задавать политике вопросы о том, что она может сказать о стоящих перед ней проблемах. Я спрашиваю ее: чью сторону она принимает и на каких основаниях; я не требую от нее фиксации руководящей мной в моих действиях теории. Я не противник и не сторонник марксизма; я спрашиваю его: что он может сказать по поводу опыта, ставящего перед ним вопросы?

Что же касается майских событий 1968 года, то, по-моему, у них иная проблематика. В те годы меня во Франции не было, а вернулся я лишь несколько месяцев спустя. Мне показалось, что в этих событиях можно различить совершенно противоречившие друг другу элементы: с одной стороны, широковещательно утверждавшуюся попытку поставить перед политикой целый ряд вопросов, которые традиционно не относились к ее статусной сфере (вопрос о женщинах, об отношениях между полами, о медицине, о психиатрии, об окружающей среде, о меньшинствах, о правонарушениях); с другой же стороны, волю к тому, чтобы переформулировать все эти проблемы на языке теории, более или менее непосредственно относившейся к марксизму. Но получилось так, что обозначившийся тогда процесс привел не к ассимиляции поставленных проблем марксистской доктриной, но, наоборот, ко все более явной невозможности для марксизма справляться с этими проблемами. В итоге оказалось, что вопросы, обращенные к политике, сами, в свою очередь, родились не из политической доктрины. С этой точки зрения, такое высвобождение проблематики, по-моему, сыграло позитивную роль: выявилось многообразие вопросов, ставящихся перед политикой, а не транскрипция их средствами той или иной политической доктрины.

— *Вы говорили, что ось Вашей работы проходит через отношения между этикой, политикой и генеалогией истины?*

— Некоторым образом, несомненно можно сказать, что я пытаюсь анализировать отношения между наукой, политикой и этикой. Но я не считаю, что это совершенно точное определение той работы, которую я хочу делать. Я не хотел бы в дальнейшем оставаться на этом уровне; скорее, я стараюсь понять, каким образом различные процессы могут накладываться друг на друга, образуя ту или иную научную область, политическую структуру или моральную практику. Возьмем для примера психиатрию: сегодня, без сомнения, ее можно анализировать в ее эпистемологической структуре — при всей очевидной нестрогости этой структуры; ее можно анализировать и в рамках политических институтов; можно ее изучать и в ее этических импликациях, как со стороны объектов психиатрии, так и со стороны самих психиатров. Но не это составляло мою цель. Я пытался, скорее, разглядеть, как при формировании психиатрии как науки, в срезе ее поля действия и в дефиниции ее объекта, оказались задействованы определенная политическая структура и определенная моральная

практика: в том двояком смысле, в котором они подразумевались в ходе постепенного формирования психиатрии как науки и в котором они преломились благодаря этому формированию. Психиатрия в том виде, как мы ее знаем, не могла сложиться без взаимодействия политических структур и без определенной совокупности этических теорий; но и наоборот, в процессе конституирования безумия в определенную сферу знания преломились различные, относившиеся к нему политические практики и этические теории. Речь шла о том, чтобы определить роль политики и этики в конституировании безумия как особой области научного знания; а также об анализе воздействия последнего на политические и этические практики.

Точно так же обстоит дело и с правонарушениями. Речь шла о том, чтобы уловить, какая политическая стратегия, наделяя криминальность ее статусом, смогла воззвать к определенным формам знания и определенным моральным установкам; речь шла и о том, чтобы понять, какое отражение и какую модификацию обрели эти модальности познания и эти формы морали в соответствующих дисциплинарных практиках. В случае с сексуальностью я пытался выяснить именно формирование моральной позиции; но реконструировать процесс этого формирования я пытался через его взаимодействие с политическими структурами (по существу, в соотношении самообуздания и господства над другими) и с модальностями познания (самопознания и познания различных сфер деятельности).

И получается, что в трех этих областях — безумия, правонарушений и сексуальности — я всякий раз выделял какой-нибудь определенный аспект: аспект созревания объективности, аспект формирования политики и «властвования над собою», аспект разработки этики и практики самости. Но всякий раз я пытался еще и показать место, занимаемое двумя другими компонентами, необходимыми для создания некоего поля опыта. По существу, речь идет о различных примерах, в которых задействованы три основных элемента всякого опыта: игра истины, отношения власти, формы отношений к себе и к другим. И если каждый из этих примеров известным образом ставит в привилегированное положение один из трех аспектов — поскольку опыт безумия недавно организовался преимущественно как поле знания, опыт преступления как сфера политического вмешательства, тогда как опыт сексуальности определялся как этическая сфера, то всякий раз я хотел раскрыть особенности присутствия двух других элементов, показать, какие роли они играют и как каждого из них затрагивает трансформация двух других.

— *С недавних пор Вы говорите о некоей «истории проблематик». Что Вы, собственно говоря, под ней понимаете?*

— Я давно пытался выяснить, возможно ли охарактеризовать историю мысли, как нечто отличное от истории идей — т. е. анализа систем представлений — и от истории ментальностей — т. е. анализа схем поведения и обуславливающих его установок. Мне казалось, что существует некий элемент, по природе своей созданный для подобной характеристики истории мысли, — то, что можно назвать проблемами, или, точнее говоря, проблематизацией. Мысль отличается именно тем, что она — нечто иное, нежели совокупность представлений, лежащих в основе конкретного типа поведения; кроме того, она — нечто иное, нежели система установок, которые могут его обуславливать. Мысль — не

то, что присутствует в поведении и наделяет его смыслом; скорее, она позволяет посмотреть со стороны на конкретный образ действия или реакцию; она задает этот образ действия или реакцию как объект мысли и ставит вопросы об их смысле, условиях и целях. Мысль — это свобода по отношению к тому, что мы делаем; движение, посредством которого мы дистанцируемся от действия, формируем его как объект и размышляем над ним как над проблемой.

Из нашего утверждения об изучении мысли как анализа свободы вовсе не следует, что мы имеем дело с некоей формальной системой, соотносящейся лишь с самой собой. В действительности, чтобы некая сфера действия или тип поведения проникли в поле мысли, необходимо, чтобы известное количество факторов сделали его неопределенным, как бы незнакомым, или же способствовали возникновению вокруг него некоторого количества трудностей. Эти элементы относятся к социальным, экономическим или политическим процессам. Но там они играют лишь стимулирующую роль. Они могут существовать и оказывать свое влияние весьма продолжительное время перед тем, как в сфере мысли возникнет их реальная проблематизация. Когда же последняя актуализируется, она не принимает одну-единственную форму, которая была бы непосредственным результатом или необходимым выражением этих трудностей; она представляет собой оригинальный или конкретный, зачастую многообразный, а порою даже противоречивый в своих различных аспектах ответ на эти трудности, которые обуславливаются для нее соответствующей ситуацией или соответствующим контекстом и валоризируются как возможный вопрос.

На одно и то же множество трудностей можно дать несколько ответов. И, как правило, разнообразные ответы действительно предлагаются. Но понять необходимо именно то, что делает их возможными одновременно; понять необходимо точку, где укоренена их одновременность; это почва, которая может питать разные ответы, при всем их разнообразии и порою вопреки противоречиям между ними. На трудности, с какими встретилась практика душевной болезни в XVIII в., в качестве ответов были предложены разные решения: как примеры, можно назвать решение Тьюка и решение Пинеля; аналогично этому, на трудности, встреченные практикой уголовного права, во второй половине XVIII в. было отвечено множеством решений; или еще — возьмем весьма давний пример — на трудности традиционной половой этики ответили различными решениями философские школы эллинистической эпохи.

Но работа истории мысли состоит в том, чтобы находить в корне этих разнообразных решений общую форму всех проблем, сделавшую их возможными — даже в их противопоставлении друг другу; или же находить то, что сделало возможным преобразование трудностей и практических затруднений в общую проблему, для которой предлагается несколько практических решений. На эти трудности отвечает именно проблематизация, но как ответ она предлагает иное, чем только их выражение или выявление; в связи с этими трудностями она разрабатывает условия, в которых можно дать возможные ответы; она определяет элементы, образующие то, на что стремятся ответить разные решения. Эта переработка данных в вопросы, это преобразование совокупности затруднений и трудностей в проблемы, на которые стремятся найти ответ разные решения: вот что образует точку проблематизации и специфическую работу мысли.

Здесь видно, насколько это далеко от анализа, проводимого в терминах деконструкции (всякое смешение этих двух методов было бы неразумным). Напротив, речь идет о способе критического анализа, посредством которого можно было бы дать разные решения одной проблемы, — но еще и продемонстрировать, как эти разные решения соотносятся с некоей конкретной формой проблематизации. И тогда представляется, что всякое новое решение, дополняя другие, соотносится с актуальной проблематизацией, модифицируя только некоторые из постулатов или принципов, с опорой на каковые и надо давать ответы. Работа философско-исторической рефлексии располагается в поле работы мысли при условии, что мы правильно понимаем проблематизацию — не только как подстройку репрезентаций, но и как работу мысли.

Версия #4

Зверобой создал 1 февраля 2026 00:44:01

Зверобой обновил 1 февраля 2026 22:34:20